

ПЯТЕРИЦА

ЦИКЛ ИЗ ПЯТИ КНИГ · КНИГА ТРЕТЬЯ

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Книга, которой не должно существовать



РОМАН

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

Александр Жарков

Пятое Евангелие

<https://litres.ru/74679912>

SelfPub; 2026

Аннотация

В подклете Спасо-Андроникова монастыря археолог Даниил Одинцов находит кодекс, которого не должно существовать: пятое Евангелие, написанное от лица Свидетеля. В нём Иуда — не предатель, а ключник, заперший дверь; распятие — не казнь, а сборка замка; а саму книгу нельзя ни уничтожить, ни опубликовать — только дописывать. За кодексом одновременно охотятся Ватикан, Канцелярия литургической безопасности и старообрядцы. А в списке тех, кто должен нести книгу дальше, стоит фамилия Даниила. Третий роман цикла «Пятерица».

Содержание

Пролог. Тридцать седьмой	4
Глава 1. Ниша	12
Глава 2. Иуда-ключник	19
Интерлюдия I. Закладная (1666)	27
Глава 3. Мама	33
Глава 4. Библиотека	42
Глава 5. Исповедь тщеславного человека	51
Глава 6. Живой текст	60
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Александр Жарков

Пятое Евангелие

«И было Слово, и Слово было у двери. И не всякий, кто стучит, хочет войти. И не всякий, кто входит, хочет остаться».

Евангелие от Свидетеля, слово пятое (по списку 1937 года)

Пролог. Тридцать седьмой

1937 год. Спасо-Андроников монастырь. Ночь.

Писарь Одинцов знал, что за ним придут. Он знал это с того момента, как увидел на стене трещину в форме двери.

Трещина появилась утром. Он работал в подклете — разбирал архив, который сюда свезли из закрытых церквей. В воздухе стояла бумажная пыль, и от неё першило в горле. Он чихнул, посмотрел на стену и увидел дверь.

Не настоящую. Трещину. Но если смотреть под углом, она становилась дверью: косяк, петли, замок. И в замке — замочная скважина, которой не было.

Одинцов был не суеверным. Он был осторожным. Это разные вещи. Суеверный боится чёрной кошки, осторожный — человека, который её принёс.

В монастыре было холодно. Печи топили с утра, но тепло

не доходило до подклета; оно оставалось наверху, в трапезной, где сидели люди с папками и пили чай с сухарями. Внизу пахло известью, мышами и старым деревом. Одинцов работал в пальто и перчатках без пальцев. Перчатки ему связала жена, когда ещё была жива. Он не выбрасывал их, хотя левая протёрлась на ладони.

Ему было пятьдесят два. До революции он учительствовал в школе под Коломной, потом служил в архиве, потом архив закрыли, потом открыли снова, потом снова закрыли. Он умел описывать бумаги так, чтобы никто не понял, что в них написано, и так, чтобы тот, кто умел читать, понял всё. Это было его ремесло. Он называл его «тихая работа».

Книга лежала у него под половицей с осени. Он знал её с детства. Его отец, пономарь, принёс её из церкви, которую собирались закрыть, и сказал: «Это не наше. Это на время. Когда-нибудь ты поймёшь, кому отдать». Отец умер в двадцать первом, не успев объяснить. Одинцов так и не понял, кому отдать. Он только понял, что отдавать нельзя.

Книга была большая, в тяжёлом кожаном переплёте, с медными застёжками. На крышке было вытиснено дверь. Простая дверь, без ручки. Когда Одинцов читал её, ему казалось, что кто-то стоит за спиной и дышит. Он оборачивался. Никого не было. Но дыхание оставалось.

Он достал из-под половицы свинцовый ящик. В ящике лежала книга. Он завернул её в мешковину, потом в клеёнку, потом снова в мешковину. Положил в нишу. Заложил кир-

пичом. Замазал раствором.

Когда он закончил, он сел на табурет и закурил. Руки дрожали. Он сжал их коленями и стал смотреть на стену, на свежую штукатурку, которая ещё блестела от сырости.

Он знал, что совершил что-то непоправимое. Не потому, что спрятал книгу. Потому, что понял: он прячет не вещь. Он прячет человека. Себя. Свою память. Всё, что он знал, всё, что он читал ночами, всё, что он записывал в тетрадь клеёночатою обложки, — теперь лежало в стене и ждало другого.

Он достал тетрадь из кармана. Открыл на последней странице. Там был список. Пять фамилий. Три из них он знал. Две — нет. Он вписал дату: «1937, генваря 12». Потом подумал и приписал: «Если кто найдёт — не уничтожай. Не публикуй. Дописывай».

Он посмотрел на эти слова. Они были слишком простыми для того, что он чувствовал. Но он давно понял, что самые важные вещи записываются просто. Сложно записывают только оправдания.

За стеной, во дворе, хлопнула дверь. Он услышал голос дочери. Клавдия звала его — не громко, как зовут, когда знают, что не услышат, а просто чтобы услышать собственный голос. Ей было девять. Она была тонкая, как ветка, и всё время мёрзла. Жена умерла в тридцать третьем, и с тех пор девочка спала в его пальто, которое было ей до полу.

Он не вышел. Он знал, что если выйдет, то останется. Он сидел на табурете и слушал, как она зовёт. Потом голос стих.

Потом снова — уже дальше, у ворот.

Он открыл кодекс. Не для того, чтобы читать. Для того, чтобы попроситься. Книга лежала на коленях, тяжёлая, тёплая. На переплёте была дверь. Он провёл по ней пальцем. Дверь была вытиснена так, что казалась вдавленной внутрь, как будто кто-то уже пытался её открыть.

На последней странице, там, где утром было пусто, стояла строка. Свежая, ещё блестящая.

«Не жди меня».

Он не писал её. Он знал свой почерк. Это был его почерк. Но он не писал.

Он закрыл книгу. Положил её в ящик. Закрыл крышку. И в этот момент в дверь постучали.

— Гражданин Одинцов, — сказал голос. — Открывайте.

Он открыл. На пороге стояли двое в кожаных куртках. У одного в руках был фонарь, у другого — папка.

— Вы работаете с архивом? — спросил тот, с папкой.

— Работаю.

— Нашли что-нибудь интересное?

— Пыль.

— А конкретнее?

— Пыль, — повторил Одинцов. — Она везде.

Человек с папкой посмотрел на него. Потом на стену.

— Что это?

— Где?

— Вот.

Он ткнул пальцем в стену. В то место, где была дверь.

— Стена, — сказал Одинцов. — Кирпич.

— А почему тут сыро?

— В подклете всегда сыро.

Человек подошёл. Потрогал стену. Потом достал из кармана нож и начал ковырять раствор. Одинцов смотрел. Он знал, что сейчас будет.

— Гражданин Одинцов, — сказал человек с фонарём. — Вы понимаете, что за хранение антисоветской литературы...

— Понимаю.

— И всё равно храните?

— Я не храню. Я описываю.

— А какая разница?

Одинцов подумал. Потом сказал:

— Разница в том, кто потом прочтёт.

Человек с ножом выругался. Из стены пошёл воздух — тёплый, как дыхание. Он отшатнулся.

— Что это?

— Сквозняк, — сказал Одинцов.

— Это не сквозняк.

— В старых монастырях бывают сквозняки.

Человек с фонарём осветил в щель. Там было пусто.

— Ничего нет, — сказал он.

— Я же говорил.

— А зачем вы замазывали?

— Замазывал не я. — Одинцов сел на табурет. — Это

старая кладка. Я к ней не прикасался.

Они смотрели на него долго. Потом человек с папкой закрыл папку.

— Мы ещё вернёмся, — сказал он.

Они ушли. Одинцов сидел на табурете и слушал, как стучат их сапоги. Потом встал, взял с полки огрызок карандаша и написал на штукатурке, поверх замазанной двери:

«Не уничтожай. Не публикуй. Дописывай».

Он знал, что за ним вернутся. Он знал, что его имя сотрут из документов. Он знал даже, что будет дальше — потому что читал книгу, которая это предсказала.

Он спрятал карандаш в карман. Потом достал из-под половицы фотографию — себя, молодого, с женой и сыном. Посмотрел на неё. На фотографии его лицо уже начало бледнеть.

— Ну вот, — сказал он. — Теперь ты один.

Он положил фотографию в книгу. Книгу — обратно в стену. И стал ждать.

* * *

Ждал он недолго. За ним пришли через две недели, ночью, когда он спал в сторожке у ворот. Он не сопротивлялся. Он попросил только застегнуть пальто, потому что на улице было минус двадцать, а пуговица на воротнике оторвалась ещё в декабре.

Его вели через двор. Снег скрипел под сапогами. У ворот стояла девочка в платке, в валенках не по размеру. Ей было

девять. Её звали Клавдия. Она держала в руках жестяную кружку с горячей водой — она несла отцу чай и не успела.

— Папа, — сказала она.

Он не обернулся. Он знал, что если обернётся, то останется. А остаться было нельзя. Не потому, что он боялся. Потому, что книга была уже в стене, а стена была крепче его.

— Папа.

Он шёл дальше. Снег падал ему на плечи. Человек с папкой открыл дверцу машины. Одинцов сел. Дверца закрылась. Машина уехала.

Клавдия стояла у ворот, пока не замёрзли руки. Потом пошла домой. Утром она не смогла вспомнить, как выглядело лицо отца. Она помнила только пальто, пуговицу и голос. И ещё песню, которую он пел ей, когда она не могла уснуть. Слов она не помнила. Мелодию помнила.

Через неделю в музее составили акт. В акте было написано, что сотрудник Одинцов А. А. уволен по собственному желанию, а его имя исключено из списков «в связи с уточнением кадрового состава». Никто не удивился. В тридцать седьмом уточняли многое.

В подклете замазали нишу заново. Штукатурку побелили. Трещина в форме двери исчезла. Но через месяц она появилась снова — тонкая, в полпальца, от пола до потолка. Её замазали. Она появилась опять.

Тогда на неё махнули рукой. В старых монастырях всегда что-нибудь трещит.

Через семьдесят лет в эту стену упрётся стеллаж. Штукатурка осыпется. И человек в рыбацком жилете, у которого не хватит денег на кофе, увидит нишу.

Но это будет уже другая книга.

Глава 1. Ниша

Наши дни. Февраль. Спасо-Андроников монастырь.

Я нашёл кодекс потому, что мне не хватило денег на кофе.

Если бы у меня были деньги, я бы в обеденный перерыв пошёл в кофейню, а не остался в подклете. Если бы я не остался в подклете, я бы не увидел, как осыпается штукатурка. Если бы я не увидел, как она осыпается, я бы никогда не узнал, что за ней.

Так что, если подумать, наша цивилизация обязана своим спасением скидке на кофе, которую в тот день не дали.

— Даниил Андреевич, — сказала Лариса из отдела учёта, — вы опять в этом пальто?

— Это жилет.

— Это пальто без рукавов.

— Это рыбацкий жилет. Он удобный.

— Вы в нём похожи на туриста, который потерял группу.

Лариса была права. Я всегда так выглядел. У меня было тридцать четыре года, две научные степени, ни одной публикации в хорошем журнале и рыбацкий жилет, который я купил в Твери за восемьсот рублей. Я работал младшим научным сотрудником в музее Спасо-Андроникова. Я занимался тем, что описывал вещи, которые другие люди находили до меня.

В тот день я описывал подклет.

Подклет — это нижний этаж монастырского корпуса. Здесь когда-то хранили зерно, потом — архивы, потом — то, что не поместилось в музей. Сейчас здесь стояли стеллажи с коробками, пахло сыростью, и по стенам шёл тот особый вид плесени, который я называю «архивной бородой».

Я сидел на корточках и разбирал коробку с документами 1930-х. Настроение было плохое. Утром мне отказали в гранте. В обед я получил письмо от журнала с отказом. В новостях написали, что нашли ещё одну подземную галерею, и я подумал: «Почему не я?»

Я всегда думал: «Почему не я?» Это, наверное, мой главный научный метод.

Утром, ещё до подклета, у меня был разговор с директором. Директор музея, Ирина Павловна, женщина с голосом экскурсионного автобуса, вызвала меня в кабинет и сказала, что фондовая комиссия не примет мой отчёт, если в нём не будет «художественной ценности». Я сказал, что описываю архив, а не картины. Она сказала: «Вот и опишите художественную ценность». Я сказал, что у пыли художественной ценности нет. Она сказала: «У пыли есть провенанс». Я не стал спорить. Я вообще редко спорю с людьми, у которых есть ключи от кабинета.

Потом был обед. В музейном буфете кофе стоил сто восемьдесят рублей. У меня на карте было сто сорок два. Я мог бы попросить у Ларисы, но Лариса в тот день уже сделала мне замечание про жилет. Я решил, что обойдусь. Я взял из

кулера воды и пошёл в подклет — писать «художественную ценность» пыли.

И тут штукатурка за стеллажом осыпалась.

Просто так. Не от удара, не от воды. Она пошла трещинами и упала на пол серым крошевом. В воздух поднялась пыль. Я закашлялся.

— Лариса! — крикнул я. — У вас стена падает.

— Это не стена, — сказала Лариса из-за стеллажа. — Это штукатурка.

— Она только что упала.

— Значит, давно хотела.

Я подошёл. В стене образовалась ниша. Небольшая, сантиметров сорок в ширину. Внутри лежал свёрток: мешковина, клеёнка, снова мешковина. Он был покрыт пылью так густо, что казался частью стены.

Я взял его. Он был тяжёлый.

— Что там? — спросила Лариса.

— Не знаю.

— Посмотрите.

Я развернул мешковину. Под ней был свинцовый ящик. На крышке — гравировка. Буквы стёрлись, но я разобрал: «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО...» Дата была сбита.

— Лариса, — сказал я. — Идите сюда.

Она пришла. Посмотрела на ящик. Потом на меня.

— Это не по нашей части, — сказала она.

— А по чьей?

— По части начальства. Или по части полиции.
— Это музейный предмет.
— Это ящик в стене. Мы не знаем, что в нём.
— Сейчас узнаем.

Я открыл крышку. Внутри лежала книга.



Свинцовый ящик в нише: книга, которая ждала своего писца

Она была большая, в тяжёлом кожаном переплёте, с медными застёжками. Кожа потемнела от времени. На крышке — тиснение: дверь. Простая дверь, без ручки.

Я взял книгу. Она была тёплая.

Не как нагретая на солнце. Как рука.

— Даниил Андреевич, — сказала Лариса. — У вас лицо.

— Какое?

— Как у человека, который нашёл клад.

— Я и нашёл.

— Это не клад. Это инвентарь.

Она была права. Но я уже открыл книгу.

Первая страница была пустой. Вторая — тоже. На третьей, в самом верху, стояла одна строка:

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СВИДЕТЕЛЯ. СЛОВО ПЯТОЕ».

Я прочитал. Потом перечитал. Потом закрыл книгу и посмотрел на Ларису.

— Что там? — спросила она.

— Ничего, — сказал я. — Старое Евангелие.

— А почему у вас руки дрожат?

Я посмотрел на руки. Они действительно дрожали.

— От пыли, — сказал я.

На внутренней стороне переплёта было написано от руки: «Одинцову. От Одинцова».

Моя фамилия.

Я перевернул книгу. Переплёт был сделан из двух деревянных досок, обтянутых кожей. Кожа потрескалась, как земля в засуху, но под трещинами виднелась другая кожа — светлее, почти рыжая. Кто-то уже переплетал её заново. Может быть, дважды.

Вдоль корешка вилась золотая нить. Тонкая, витая, она проходила через тетради и уходила в доски. Я знал эту технику. Так пришивали оклады к иконам. Такого не делают с

книгами. Такого не делают с документами. Такого не делают вообще.

Я поддел ногтем край кожи. Под ней, в углублении верхней крышки, лежал кусочек дерева размером с почтовую марку. На нём была живопись: глаз. Тёмный, с золотым ободком зрачка. Он смотрел не на меня. Он смотрел мимо, в то место, где я стоял секунду назад.

Я отшатнулся. Лариса что-то сказала, но я не услышал.

Я знал этот глаз. Я видел его в музее, в витрине, на фотографии. Фрагмент иконы Спаса на Бору. Его искали в январе. Думали, что потеряли при разборе церкви.

Он не потерялся. Он был здесь. В переплёте книги, которую я держал в руках.

Я посмотрел на надпись. «Одинцову. От Одинцова». Я подумал: кто-то шутит. Кто-то знал мою фамилию и подложил книгу в стену, чтобы я её нашёл. Но почерк... Я присмотрелся. Мелкий, с наклоном вправо, с длинным хвостом у «ц». Такой почерк был у меня. Я видел его каждый день в своих конспектах.

Я не писал эту строку. Я бы помнил.

— Даниил Андреевич, — сказала Лариса. — С вами всё хорошо?

— Да, — сказал я. — Просто пыль.

Я хлопнул книгу и убрал её в рюкзак.

— Вы куда? — спросила Лариса.

— В архив. Надо проверить.

— А ящик?

— Ящик оставьте. И никому не говорите.

— Это музейная находка, я обязана...

— Лариса. — Я посмотрел на неё. — Пожалуйста.

Она замолчала. Может быть, потому, что я был бледный.

Может быть, потому, что в подклете стало холодно.

Я вышел на улицу. Снег шёл. Я шёл по монастырскому двору и чувствовал, как книга греет мне спину через рюкзак.

В этот момент я ещё не знал, что через три дня меня будут искать три организации, а через неделю я перестану существовать для всех, кроме пяти человек.

Я просто думал: «Почему я?»

Как всегда.

Глава 2. Иуда-ключник

Я читал кодекс всю ночь.

Сначала я думал, что это подделка. Потом — что это список. Потом — что я сошёл с ума.

К утру я знал, что это не подделка.

Книга была написана на трёх языках. Основной текст — на церковнославянском, с вкраплениями греческого. Но чем дальше, тем больше встречалось русского. Не современного — разных эпох. Как будто книгу переписывали много раз, каждый раз добавляя своё.

Вот что там было написано.

«О ДВЕРИ. Дверь не запирают из страха. Дверь запирают из милосердия. Ибо тот, кто за ней, помнит не только доброе. Он помнит и то, что ты сам забыл. Не потому, что Он судит. Потому, что Он не умеет иначе. И когда ты запираешь дверь, ты запираешь не Его. Ты запираешь себя. Но об этом не пишут в инструкциях, потому что инструкции пишут те, кто уже заперт».

«О КЛЮЧАХ. Ключ не открывает. Ключ напоминает. Всякий, кто держит ключ, держит чужую память. Поэтому ключи не дают детям и не отбирают у стариков. И если ты потерял ключ, не ищи его. Сядь у двери и вспомни, зачем ты шёл. Дверь откроется сама, когда вспомнишь. Если не откроется — значит, ты шёл

не туда».

Я читал и не понимал. Потом дошёл до главы об Иуде.

«Иуда не предал. Иуда запер. Ибо когда Учитель сказал: „Один из вас предаст меня“, — Он знал, что говорит. Он знал, что Дверь должна быть закрыта. Ибо если бы Она осталась открытой, Свидетель проснулся бы. И тогда весь мир вспомнил бы себя. И не выдержал бы.

Иуда был ключником. Не предателем. Ключником.

Он взял тридцать сребреников не как плату, а как залог. Он поцеловал Учителя, чтобы стража знала, кого брать. Он стоял у креста, когда все ушли. И когда Учитель умер, он повернул ключ.

И сказал Свидетель: „Я не сужу. Я помню“.

И сказал Учитель: „Я вернусь“.

Но Он не вернулся. Он стал Дверью. Ибо Дверь — это то, что остаётся, когда Учитель уходит».

«О РАСПЯТИИ. Не думай, что гвозди держали Его. Гвозди держали дверь. Три гвоздя — три точки крепления: верх, низ, середина. Четвёртый не понадобился, ибо дверь уже была пригнана. И когда Он сказал: „Совершилось“, — это значило не „Я умер“, а „Замок собран“. И завеса в храме разошлась не от горя. Она разошлась, как расходятся створки, когда снят замок. И сказал Свидетель: „Я не сужу. Я помню“. И сказал Учитель: „Я вернусь“. Но Он не вернулся. Он стал Дверью».

«О ВОСКРЕСЕНИИ. В третий день Замок перезагрузили. Не потому, что Он был болен. Потому, что текст не должен оставаться без автора. Смерть — это не выключение. Смерть — это когда тебя перестают читать. Он вернулся, потому что Его читали. Жёны пришли рано, когда ещё темно, и принесли масло. Масло нужно не мёртвому. Масло нужно дверным петлям».

«О ИМЕНАХ. Имя — это адрес. Не произноси чужого имени в третий день. Не давай нового имени, пока старое не вернулось. Если человек забыл имя, зови его тем, которым его звала мать. Если мать забыла, зови его тем, которым его зовут в книге. Если и книга забыла, сядь рядом и жди. Имя вернётся само, как возвращается кровь в озябшую руку».

«О СВИДЕТЕЛЕ. Свидетель не судит, потому что у Него нет памяти о вине. Он помнит только человека. Вина — это то, что человек помнит о себе. Поэтому суд — это когда человек судит себя по своей памяти. А Свидетель судит по Своей. И в Его памяти нет вины, потому что Он помнит не поступок, а того, кто его совершил».

«О ЧУЖИХ МОЛИТВАХ. Не читай чужих молитв. Чужая молитва — это ключ, выточенный под чужую дверь. Если ты читаешь её, ты открываешь не свою дверь. И то, что войдёт, будет искать тебя, а найдёт того,

кто молился».

«О ПИСЬМЕ. Пиши только то, что можешь подписать. Подпись — это не имя. Подпись — это согласие. Если ты написал строку и не подписал, строку допишет другой. И тогда она будет помнить его, а не тебя».

«О АВТОРЕ. Автор — не тот, кто написал. Автор — тот, кого читают. Поэтому не бойся быть прочитанным. Бойся быть прочитанным неправильно».

Я отложил книгу. Посмотрел в окно. За окном шёл снег. На кухне капал кран. Мир был обычным.

Я взял лист бумаги и попробовал написать на нём своё имя. Ручка не оставила следа. Я нажал сильнее. Бумага порвалась. Чернила были в стержне — я проверил на ладони, — но на листе не оставалось ничего. Как будто бумага знала, что я пишу не то.

Я отложил ручку. Посмотрел на кодекс. Он лежал на столе, закрытый, тяжёлый, и я готов был поклясться, что он дышит. Не как человек. Как дом, в котором кто-то есть.
— Кто ты? — спросил я.

Книга не ответила. Но за окном, во дворе, загорелся свет в окне напротив. Я вздрогнул. Потом понял, что это просто сосед. Потом понял, что сосед уехал в декабре.

Только руки у меня были не обычные. Они дрожали. Я налил себе чаю, но чашка стучала о блюдо, и я поставил её

на стол.

Я попробовал датировать книгу. По бумаге — не раньше семнадцатого века: плотная, с водяными знаками, какие бывают на бумаге ярославских и московских мануфактур. По переплёту — доски, кожа, слепое тиснение, какие делали в шестнадцатом. Почерк — устав, полуустав, скоропись, гражданский шрифт. Всё вместе не сходилось. Книга была не старой. Она была разновозрастной. Как дом, в котором каждый новый жилец пристраивал комнату.

На форзаце, под фамилией, я нашёл ещё одну строку, написанную очень мелко, почти в сгипе:

«Читай не подряд. Читай по слоям. Кто читает подряд, тот читает себя».

Я не понял. Но потом заметил, что некоторые страницы просвечивают. Если смотреть на свет, под уставом проступали другие буквы — крупнее, проще, как будто кто-то писал поверх старого текста, не дождавшись, пока тот высохнет. Я включил настольную лампу и поднёс книгу к абажуру. Буквы шли слоями. Их было не меньше шести.

Я взял телефон. Набрал номер мамы.

— Даниил? — сказала она. — Ты почему не спишь?

— Мам, ты знаешь что-нибудь о Пятом Евангелии?

Пауза.

— Где ты это услышал?

— В архиве. Нашёл документы.

— Какие документы?

— Старые. — Я старался говорить спокойно. — Один список. Там написано про Иуду.

Мама молчала долго. Потом сказала:

— Приезжай.

— Сейчас? Ночь.

— Сейчас, — сказала она. — И не говори по телефону.

Она повесила трубку.

Я оделся. Положил книгу в рюкзак. Вышел на улицу.

На лестнице стоял старик Матвей, сторож музея. Он курил у окна. Увидел меня, посмотрел на рюкзак.

— Нашли, — сказал он.

— Что?

— Книгу. — Он затянулся. — Я знал, что вы найдёте. Все Одинцовы её находят.

— Вы знали моего прадеда?

— Я знал вашего деда. — Он посмотрел на меня. — И вашего отца.

— Мой отец умер, когда мне было два.

— Я знаю. — Матвей стряхнул пепел. — Он тоже нашёл.

Я замер.

— Что нашёл?

— То же, что и вы.

— И что с ним стало?

Матвей молчал. Потом сказал:

— Он ушёл в дверь.

— В какую дверь?

— В ту, которую вы принесли в рюкзаке.

Он раздавил сигарету и ушёл. Я остался стоять на лестнице.

На подоконнике, у окна, сидел кот. Чёрно-белый, с глазами разного цвета — один зелёный, другой жёлтый. Он смотрел на меня так, как смотрят на человека, который опоздал на собственный поезд. Потом спрыгнул и ушёл вслед за Матвеем.

В кармане у меня зазвонил телефон. Незнакомый номер.

— Даниил Андреевич? — сказал вежливый мужской голос с лёгким акцентом. — Простите за ранний звонок. Меня зовут Матвей Кранц. Я представляю Секцию тихих доктрин Ватикана. Нам нужно поговорить.

Я посмотрел на телефон. Потом на дверь, за которой скрылся Матвей.

— Откуда у вас мой номер?

— Из вашего резюме. Вы отправляли его в научный фонд в прошлом году.

— Я не отправлял.

— Отправляли. Вы просто не помните. — Пауза. — Мы можем встретиться сегодня? Это важно.

— Я занят.

— Даниил Андреевич. — Голос стал мягче. — Вы держите в рюкзаке вещь, которая может изменить мир. Я не угрожаю. Я предупреждаю. Если вы не поговорите со мной, с вами поговорят другие. И им не нужен ваш мир.

Он повесил трубку.

Я стоял на лестнице и смотрел на телефон. В голове было пусто. Потом я вспомнил, что мама ждёт.

Я поехал к ней.

Интерлюдия I. Закладная (1666)

Москва, Замоскворечье. Январь. Мороз такой, что вороны не летают, а сидят на крестах и молчат.

Иерей Савва, настоятель церкви Трёх Свидетелей, вышел на крыльцо и посмотрел на улицу. Улица была пуста. Это ему не понравилось. В Москве не бывает пустых улиц. В Москве бывают улицы, на которых люди стоят за углом и ждут, когда ты уйдёшь.

Он вернулся в храм. В храме было темно и тепло. Пахло воском, ладаном и мокрой шерстью. У левого клироса сидел человек в рваном тулупе. Он пришёл ночью, не назвался и попросил убежища. Савва пустил его в исповедальню — не потому, что верил ему, а потому, что не пустить было страшнее.

Человека звали Игнатий. Он был из слободы, бежал от приказчика, которому задолжал. Долг был невелик, но приказчик был из тех людей, которые не прощают долгов, потому что долг — это не деньги, а власть. Игнатий знал, что если его найдут, то не повесят. Повесить — это милость. Его отдадут в заклад, а закладные люди живут долго и плохо.

— Они придут? — спросил Игнатий.

— Придут, — сказал Савва.

— А вы меня выдадите?

— Нет.

— Почему?

Савва посмотрел на него. Он хотел сказать: «Потому что церковь — это не место, а слово». Но это было слишком сложно для человека в рваном тулупе. Он сказал проще:

— Потому что ты вошёл.

Савва не всегда был настоятелем. Двадцать лет назад он был молодым священником в селе под Дмитровом. У него была жена и двое детей. Потом пришла моровая язва — не та, о которой пишут в летописях, а тихая, домашняя, которая забирает одного за другим, пока дом не станет пустым. Он похоронил жену в среду, сына в пятницу, дочь в воскресенье. В понедельник он пришёл в церковь, отпер дверь и увидел, что на престоле лежит книга, которой он раньше не видел.

Книга была открыта на странице, где было написано: «Я не сужу. Я помню». Он прочитал это и впервые за неделю заплакал. Не от горя. От облегчения. Потому что понял: есть кто-то, кто не будет спрашивать, почему он не спас их. Кто просто помнит, что они были.

Он ушёл из села. Долго шёл пешком. В Москве ему дали приход — маленькую церковь Трёх Свидетелей в Замоскворечье, которую до него два года не мог содержать никто. Церковь была старая, вросшая в землю, с трещиной в алтарной стене. Трещину замазывали, она появлялась снова. Савва не замазывал. Он знал, что это дверь.

Прихожане говорили, что церковь названа в честь трёх мучеников, которых память не сохранила. Савва не спорил.

Но он знал другое: когда-то здесь стояли трое, которые видели, как человек вошёл в стену и не вышел. Они не стали рассказывать. Они просто построили церковь. Так появилось место, где можно молчать о том, что видел.

Савва держал дверь двенадцать лет. Он никого не судил. Он никого не выдавал. Он крестил, отпевал, венчал и молчал. Люди шли к нему не за проповедью. Они шли за тишиной. А тишина, как он узнал, стоит дороже слова.

Теперь он стоял перед ключником и понимал, что тишина кончилась.

* * *

Их было пятеро. Трое — люди приказчика, двое — из тех, кого в Замоскворечье называли ключниками. Ключники носили на поясе железные ключи и считали, что дверь под городом должна быть открыта. Они не были разбойниками. Они были хуже: они были правы в том, что дверь существует.

Старший ключник, сухой старик с седой бородой, остановился на пороге.

— Отдай нам закладного, — сказал он.

— Он не закладной, — сказал Савва. — Он человек.

— Он взял деньги и не вернул.

— Он взял деньги у человека, который взял у него дом.

Это не долг. Это цепь.

Ключник посмотрел на него без злобы.

— Ты знаешь, что за дверью?

— Знаю.

— И держишь её закрытой?

— Держу.

— Почему?

— Потому что за ней — память. А память без милости — это суд. А суд без милости — это огонь.

Ключник долго молчал. Потом сказал:

— Мы не хотим огня. Мы хотим, чтобы люди помнили.

— Люди не выдержат, — сказал Савва. — Ты видел, как человек вспоминает всё, что сделал? Он не кается. Он сходит с ума.

— Значит, надо, чтобы сошёл. — Ключник сказал это тихо. — Лучше сойти с ума от правды, чем жить в мире, который тебя забыл.

Савва не нашёлся что ответить. Он смотрел на людей приказчика, на ключников, на свечи, которые горели ровно, как будто всё это их не касалось. Потом сказал:

— Давайте напишем грамоту.

— Какую грамоту?

— Закладную. Не на человека. На место. Кто войдёт в исповедальню, тот под словом до выхода. Никто его не тронет — ни вы, ни они, ни я. А кто слово порушит, того имени не будет ни в книге, ни в памяти.

Ключник посмотрел на него. Потом на исповедальню. Потом на людей приказчика.

— А если он выйдет?

— Тогда он выйдет. И вы сможете его взять. Но не раньше.

— Он выйдет.

— Может быть.

Ключник думал. Люди приказчика ждали. Игнатий в исповедальне дышал так, что было слышно.

— Пиши, — сказал ключник.

* * *

Грамоту писали всю ночь. Савва писал, ключник диктовал, люди приказчика сидели у стены и молчали. В грамоте было сказано:

«Лета 7174-го, месяца генваря в 7 день, мы, иереи Савва с причтом церкви Трёх Свидетелей, и прихожане, и люди посада, учинили закладную: всяк, кто войдёт в исповедальню, да будет под словом до выхода своего. И никто да не изымет его ни рукою, ни оружием, ни судом. А кто слово порушит, того имени не будет ни в книге, ни в памяти, ни в поминании. Аминь».

Савва поставил подпись. Ключник поставил крест. Люди приказчика поставили кресты. Потом Савва приложил печать — медную, с тремя свечами.

Игнатий вышел из исповедальни утром.

Он не дождался, пока уйдут люди приказчика. Он решил, что слово — это для других, а он человек маленький, и его слово ничего не весит. Он шагнул за порог и сказал:

— Ну, я пойду.

Ключник не двинулся. Люди приказчика не двинулись. Савва не двинулся. Только воздух в храме стал другим —

сухим, как в июле.

Игнатий сделал ещё шаг. Потом остановился. Посмотрел на свои руки. Потом на Савву.

— Что это? — спросил он.

— Ты порушил слово, — сказал Савва.

— Я ничего не...

Он не договорил. Он стал бледнеть. Не так, как бледнеют от страха. Как бледнеет бумага на солнце. Его лицо потеряло тень, потом черты, потом всё остальное. Через минуту в храме стоял человек без лица. Через две — никого.

На полу остался тулуп.

Ключник подошёл, поднял тулуп, сложил его и положил на скамью.

— Жалко, — сказал он.

— Да, — сказал Савва.

— Он не злой был.

— Нет.

— Просто не умел ждать.

Савва посмотрел на грамоту. В списке свидетелей было пять имён. Одно — Игнатий — уже побледнело. Через час его не было.

Савва взял перо и на обороте грамоты написал:

«Дверь помнит. Люди — нет. Поэтому дверь надо держать».

С тех пор в этой церкви не было ни одного убийства. Были только исчезновения.

Глава 3. Мама

От Андроникова до Замоскворечья я ехал на метро. В вагоне было пусто, только спали двое рабочих в оранжевых жилетах и женщина с собакой в переноске. Собака смотрела на меня сквозь сетку и молчала. Я смотрел на неё и думал: «Ты тоже знаешь, что я вор?»

Я вор. Впервые в жизни. Я вынес из музея предмет, который обязан был описать, зарегистрировать и сдать в фонд. Я сделал это не потому, что хотел украсть. Я сделал это потому, что не мог оставить книгу в подклете, где её найдёт первый же человек с папкой. Но от этого я не перестал быть вором. Взрослая жизнь вообще устроена так, что самые правильные поступки совершаются по самым неправильным причинам.

Я вышел на «Третьяковской». Ночь была сухая, морозная, с тем особым московским воздухом, который пахнет одновременно снегом, бензином и чужим чаем. Я прошёл по Ордынке, потом свернул в переулок, где фонари стоят через один, и дома стоят так плотно, что кажется, будто они держат друг друга за локти.

Мама жила в старом доме с видом на храм Трёх Свидетелей. Дом был пятиэтажный, с лепниной, облупленной до кирпича, и с двором, в котором качели скрипели даже в безветренную погоду. Я знал этот двор с детства. Я знал, где под асфальтом проходит старая стена, где была церковь и когда

её снесли. Мама говорила, что город стоит не на болоте, а на памяти. «Болото можно осушить, — говорила она. — Память — нет».

Она открыла дверь сразу. Была в халате, с чашкой чая. На столе горела лампа.

— Покажи, — сказала она.

Я достал книгу.

Мама посмотрела на неё. Не открыла. Просто посмотрела. Потом перекрестилась.

— Господи, — сказала она. — Значит, правда.

— Что правда?

— Садись.

Я сел. Она налила мне чаю. Потом сказала:

— Твой прадед был писцом. Не в смысле переписчиком. В смысле — он переписывал реальность. Он был одним из тех, кто поддерживал текст. Каждые сорок лет текст нужно было обновлять. Иначе он устаревал. И дверь переставала держать.

— Какую дверь, мама?

— Ту, которую ты видишь на переплёте.

— Это метафора?

— Нет. — Она посмотрела на меня. — Это дверь. Она под городом. В подклете Андроникова монастыря.

— Я там был.

— Знаю. — Она улыбнулась. — Ты весь в отца.

— Мама, что случилось с отцом?

Она молчала.

— Мама.

— Он нашёл книгу, когда тебе было два. — Она смотрела на чашку. — Он хотел её опубликовать. Он был учёный, как ты. Он думал, что правда должна быть известна.

— И что?

— И его не стало. — Она подняла глаза. — Не в смысле умер. В смысле — его не стало. Я помню, что у меня был муж. Я помню, что у тебя был отец. Но я не помню его лица. И никто не помнит.

— Это невозможно.

— Это город, — сказала мама. — Он умеет забывать.

Я смотрел на неё. Потом на книгу.

— Значит, книгу нельзя публиковать.

— Нельзя уничтожать. И нельзя публиковать. — Она взяла мою руку. — Её нужно дописывать.

— Как?

— Не знаю. — Она покачала головой. — Я не писец. Я просто жена писца.

* * *

На стене у неё висела карта Москвы — большая, склеенная из четырёх листов, с пометками цветными карандашами. Я знал эту карту с детства. По ней мама готовила экскурсии. Красным были обведены храмы, синим — реки и ручьи, ушедшие в трубы, зелёным — сады, которых больше нет. В углу карты был нарисован маленький чёрный крестик.

Я спросил, что это.

— Это место, где я родилась, — сказала мама. — Дома нет. Улицы нет. Есть только крестик.

— Как это?

— Снесли в семидесятом. Потом построили гараж. Потом гараж снесли. Теперь там парковка. — Она пожала плечами. — Я хожу туда иногда. Стою и говорю: «Здесь был мой дом». Никто не слышит. Но я говорю.

Она взяла с полки тонкую тетрадь в клеёнчатой обложке. Я думал, что она даст её мне. Но она только положила её на стол и накрыла ладонью.

— Это тетрадь прадеда, — сказала она. — Я нашла её в шкапулке, когда умерла бабушка. Там записи. Не все понятные. Я читала ночами и думала, что схожу с ума.

— Дай мне.

— Не сейчас. — Она покачала головой. — Сначала ты должен понять, что это не клад. Это работа. Клады находят один раз. Работу делают всю жизнь.

— Мама, я археолог. Я умею работать.

— Ты умеешь находить. — Она посмотрела на меня. — Это не одно и то же.

Она убрала тетрадь обратно на полку, за книги по истории Москвы. Я запомнил место: третья полка сверху, между «Москвой и москвичами» и справочником по переулкам.

— Меня учила мама, — сказала она вдруг. — Твоя бабушка Клавдия. Её научил отец — твой прадед. Когда мне было

шесть, мы ходили с ней по городу, и она говорила: «Считай». Я считала. Она говорила: «Имя — это адрес. Адрес — это шаги. Если ты знаешь, сколько шагов от дома до храма, ты всегда найдёшь дорогу назад». Я потом всю жизнь считаю. Даже когда веду экскурсию. Считаю шаги и говорю.

— И что? Помогает?

— Иногда. — Она улыбнулась. — От храма до дома — четыреста двенадцать шагов. От дома до булочной — двести шесть. От булочной до школы, где я училась, — тысяча сто. Школы больше нет. А шаги остались.

Она помолчала. Потом добавила:

— Бабушка Клавдия всю жизнь считала. Она говорила, что счёт — это единственное, что у неё осталось от отца. Она не помнила его лица. Помнила пальто, пуговицу, голос. И песню, которую он пел ей, когда она не могла уснуть.

— Какую песню?

— Колыбельную. — Мама посмотрела на меня. — Она пела её мне. Я пела тебе. Ты не помнишь?

Я не помнил. Я помнил только мелодию — четыре ноты, простые, как шаги. Я думал, что это из телевизора. Или из детского сада. Оказалось, это было из тридцать седьмого года.

— Бабушка умерла, когда я была беременна тобой, — сказала мама. — Я приехала к ней в больницу. Она уже почти не говорила. Я сидела рядом и держала её за руку. И она вдруг запела. Тихо, без слов. Я сказала: «Мама, ты что?» А она по-

смотрела на меня и сказала: «Это он. Он пришёл». Я обернулась. В палате никого не было.

— Кто он?

— Она не сказала. — Мама покачала головой. — Она умерла через два дня. Я потом нашла у неё в шкатулке тетрадь. Ту самую. И фотографию. На фотографии был мужчина с девочкой на руках. Лицо мужчины было смазано. Как будто кто-то провёл по нему пальцем.

— А девочка?

— Бабушка. — Мама улыбнулась. — Ей там лет пять. Она смеётся. Я никогда не видела, чтобы она так смеялась.

Она встала. Подошла к окну. За стеклом шёл снег, и в нём горели окна соседнего дома.

— Я не помню своего деда, — сказала она. — Я его никогда не видела. Но иногда мне кажется, что я его помню. Не лицо. Не голос. Что-то другое. Как будто кто-то стоит за спиной и дышит. Я оборачиваюсь — никого. Но дыхание остаётся.

Я хотел сказать, что со мной то же самое. Что я чувствую это с детства. Что иногда я просыпаюсь ночью и думаю, что в комнате есть кто-то третий. Но не сказал. Потому что она смотрела в окно и улыбалась, и я не хотел её перебивать.

Она замолчала. За окном прошёл трамвай, и стекло тихо звякнуло.

— Мам, а что было в тетради?

— Список. — Она посмотрела на меня. — Пять фамилий.

И правило: не уничтожай, не публикуй, дописывай. И ещё...

— Она замялась.

— Что?

— Там была страница, написанная не его рукой. Более поздняя. Как будто кто-то дописал после него. Там было написано: «Он придёт в рыбацком жилете».

Я посмотрел на свой жилет.

— Это совпадение.

— Конечно, — сказала мама. — В этом городе всё совпадения.

* * *

В дверь позвонили.

Мы замерли.

— Не открывай, — сказала мама.

Звонок повторился. Потом ещё раз.

— Даниил Андреевич, — сказал голос за дверью. — Я знаю, что вы здесь. У меня есть ордер.

Мама посмотрела на меня.

— Это он, — сказала она.

— Кто?

— Тот, кто приходил к твоему отцу.

Я подошёл к двери и посмотрел в глазок. На лестнице стоял человек в чёрном пальто. За ним — двое. У одного в руках была папка.

— Откройте, — сказал человек. — Мы не хотим шума.

Я вернулся в комнату. Мама уже достала из шкафа старый

рюкзак.

— Возьми, — сказала она. — Там деньги. И ключ от дачи.

— Мама, я не оставлю тебя.

— Оставишь. — Она сунула мне рюкзак. — Иди через чёрный ход. И не возвращайся, пока не поймёшь, что делать.

— А если я не пойму?

— Тогда не возвращайся совсем. — Она поцеловала меня в лоб. — Только не публикуй.

Я вылез через окно на пожарную лестницу. Снег падал на железные ступени. Я спустился во двор и оглянулся. В окне кухни горел свет. В нём стояла мама. Она не махала. Она просто смотрела.

Я побежал.

* * *

Я бежал по переулку, потом по набережной, потом снова по переулку. Я не знал, куда бегу. Я знал только, что за мной, возможно, идут, и что в рюкзаке лежит книга, которая стоит дороже моей квартиры, моей работы и, может быть, моей жизни.

Я остановился у храма. Он стоял в конце улицы, тёмный, с одной горящей лампадой в окне. Я подошёл к двери. Она была заперта. Я постучал. Никто не открыл.

Я сел на ступеньку. Снег падал на плечи. Я достал телефон. На экране было три пропущенных звонка с незнакомого номера и одно сообщение: «Это Кранц. Подумайте до воскресенья. В воскресенье будет поздно».

Я закрыл телефон. Посмотрел на храм. Потом на книгу в рюкзаке.

— Ну и что мне с тобой делать? — спросил я.

Книга не ответила. Но я готов был поклясться, что она стала теплее.

Из протокола изъятия, 1937 год: «При обыске в подклете Спасо-Андроникова монастыря обнаружена ниша, заложённая кирпичом. Содержимое ниши изъято. Составить опись не представляется возможным: предмет исчез при переноске. Свидетель Одинцов А. А. от дальнейших показаний отказался. Его имя исключено из списков сотрудников музея».

Глава 4. Библиотека

Я не пошёл к Алексею сразу. Ночью я добрался до храма, но не смог сказать ни слова. Ника впустила меня, я просидел в притворе до утра и ушёл, так и не решившись заговорить о главном.

Всё было проще и хуже. Я сидел в круглосуточной кофейне на Пятницкой, пил чай, который остывал быстрее, чем я успевал сделать глоток, и смотрел на кодекс. Я не открывал его. Я боялся, что если открою, то не смогу закрыть. За окном шёл снег, дворник в оранжевой куртке чистил тротуар и ругался на погоду, которую сам же и вызывал, выходя на работу. В кофейне пахло жжёным сахаром и мокрой шерстью. На соседнем столике спал студент, положив голову на учебник по сопромату.

К шести утра я понял две вещи. Первая: книгу нельзя нести домой, потому что домой могут прийти. Вторая: книгу нельзя нести в музей, потому что в музее её найдут. Осталось третье место — библиотека. Не потому, что там безопасно. Потому, что там никто не удивляется человеку, который сидит над старой книгой и что-то бормочет.

К открытию я был у Ленинки.

Главное здание Российской государственной библиотеки стоит на Воздвиженке, как огромный письменный стол, который забыли убрать после заседания. Внутри пахнет гарде-

робом, мокрыми пальто и бумажной пылью. Я оставил куртку, получил номерок и прошёл в читальный зал. За столами уже сидели люди: студенты с ноутбуками, старики с газетами, женщина в очках, которая писала что-то в тетрадь, как будто вела допрос собственной памяти.

Я заказал книги. Форма 2, карандаш, бумажные бланки, очередь к каталогу. Каталог был деревянный, с длинными ящиками, которые выдвигаются с тихим стуком. Я искал «Евангелие от Свидетеля». Ничего. «Пятое Евангелие». Ничего. «Одинцов». Три карточки: «Одинцов А. А. — сотрудник музея», «Одинцов А. А. — статья о реставрации», «Одинцов А. А. — некролог». Некролог был из «Московского церковного вестника» за 1913 год. Я заказал его.

Пока несли книги, я думал о том, что скажу Алексею. «Я нашёл апокриф, который может перевернуть историю». Слишком пафосно. «Я нашёл книгу, которая пишет мной». Слишком странно. «Я нашёл то, чего не должно быть». Это было точнее всего.

Книги принесли на тележке. Нина Петровна, библиотекарь с бейджем и голосом метронома, сказала:

— Одинцов, у вас заказ до шести. Если не успеете, продлите.

— Успею.

— Все так говорят.

Я сел за стол. Первым делом открыл Евсевия. В примечаниях к русскому переводу девятнадцатого века кто-то из ре-

дакторов оставил сноску: «Есть иные списки, но они не вошли в канон». Сноска была без ссылки. Я проверил постра-нично. Ни ссылки, ни продолжения. Как будто человек хотел сказать больше, но передумал.

В каталоге Ватиканской библиотеки, в латинском описании славянских кодексов, я нашёл запись: «Codex slavicus. Evangelium Testis. Saec. XVI. Tegumentum: porta». Век шестнадцатый. Переплёт: дверь. Я перечитал трижды. Это было упоминание. Это было описание.

Я поднял голову. Нина Петровна стояла у стойки и смотрела на меня.

— Что-то нашли? — спросила она.

— Скажите, — сказал я, — этот каталог у вас в открытом доступе?

— Этот — в открытом. — Она подошла. — А приложение к нему — в закрытом.

— Какое приложение?

— Опись. — Она посмотрела на номер в моей заявке. — Там есть раздел «Codices restituti». Возвращённые кодексы. Их не выдают без письма от института.

— А кто-нибудь заказывал его? В последнее время?

Она помолчала. Потом сказала:

— На прошлой неделе приходил мужчина. В сером пальто. С акцентом. Заказывал то же приложение. Я сказала, что нужно письмо. Он сказал, что письмо будет. И ушёл.

— Он назвался?

— Нет. — Она посмотрела на меня. — Но он знал вашу фамилию. Спросил, не работает ли здесь Даниил Одинцов.

Я почувствовал, как холод проходит по спине. Не от страха. От узнавания. Я уже слышал этот голос в трубке.

— И что вы сказали?

— Что не знаю такого. — Нина Петровна пожала плечами. — Я не обязана отвечать на вопросы людей без письма.

Она вернулась к стойке. Я сидел и смотрел на экран. «Codices restituti». Возвращённые кодексы. Книги, которые кто-то вернул. Или которые кто-то отобрал и вернул не полностью.

Я записал номер. Потом закрыл ноутбук. Руки дрожали.

— Нина Петровна, — сказал я. — А можно посмотреть опись? Хотя бы карточку.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом вздохнула.

— Идите за мной.

Мы прошли в служебный коридор. Пахло кофе и мокрой бумагой. Она открыла шкаф, достала тонкую папку и положила на стол.

— Здесь только карточки, — сказала она. — Самих кодексов нет. Их вывезли в сорок первом. В эвакуацию. Обрат-но вернулась половина.

Я открыл папку. Карточки были старые, написанные от руки. Я листал быстро. «Codex slavicus. Evangelium Testis». Карточка была на месте. На обороте — штамп: «Проверено. 1979». И подпись. Я не разобрал фамилию. Но почерк был

мелкий, сухой, с наклоном влево.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю. — Нина Петровна посмотрела на подпись. — В семьдесят девятом я ещё в школе училась.

Я перевернул карточку. Внизу, карандашом, едва заметно, было написано:

«Читать нельзя. Выдавать нельзя. Помнить можно».

Я сфотографировал карточку. Потом вернул папку.

— Спасибо, — сказал я.

— Не благодарите. — Она закрыла шкаф. — И не приходите больше с такими вопросами. Я на пенсию хочу, а не в неприятности.

В старообрядческом сборнике, изданном в Гельсингфорсе в 1911 году, была статья «О двери и о ключах». Автор, скрывшийся под инициалами, писал: «Ходят слухи о Евангелии от Свидетеля, но сие есть суеверие, и не подобает испытывать». На полях кто-то, более поздний, карандашом: «Не ищи».

Я сидел над этими строчками и чувствовал, как у меня холодеют пальцы. Это было то самое чувство, которое бывает у охотника, когда он видит след. Не зверя. Следа. Зверь может быть далеко. Но след уже есть, и он свежий.

Я представил заголовки. «Московский археолог нашёл апокриф, который перевернёт историю». Я представил конференцию в Риме. Я представил, как стою на сцене и говорю: «Мы всегда знали, что канон неполон. Теперь у нас есть до-

казательство». Я представил лицо Барсукова. Вот это было самое приятное.

Арсений Львович Барсуков был заведующим отделом рукописей. Ему было пятьдесят два, он носил бороду, похожую на хорошо составленный указатель, и печатку на правой руке, которую никогда не снимал. Он знал всё. Он знал, кто что украл в 1974 году, кто с кем развёлся в 1989-м и какая рукопись в каком фонде лежит не на своём месте. Он был человек-каталог. И он двадцать лет ждал находки, которая оправдает его собственную жизнь.

Я знал, что он в читальном зале. Он всегда был там по вторникам.

— Даниил Андреевич, — сказал он, подходя. — Вы сегодня рано.

— Не спалось.

— Похвально. — Он посмотрел на книги на моём столе. — Евсевий. Ватиканский каталог. Гельсингфорсский сборник. Вы ищете то, чего нет?

— Проверяю одну сноску.

— Сноски — это кладбище чужих надежд. — Он сел напротив, не спросив разрешения. — Покажите.

— Что показать?

— Сноску.

Я показал. Он прочитал. Потом поднял глаза. В них было что-то, чего я раньше не видел: не зависть, не насмешка, а голод.

— Где вы это взяли?

— В фонде.

— В каком?

— В частном.

Барсуков улыбнулся. Улыбка была вежливая, как преискурант.

— Даниил Андреевич. Я тридцать лет работаю с бумагой. Я вижу, когда человек врёт. Не по глазам. По паузам. — Он постучал пальцем по столу. — Вы нашли не сноску. Вы нашли вещь. Я прав?

Я молчал.

— Я не собираюсь её отбирать, — сказал он. — Я предлагаю сотрудничество. Вы — находка. Я — метод. Вместе мы сделаем так, чтобы это не осталось в подклете. Публикация, конференция, грант. Вы понимаете, что это значит для музея? Для науки? Для вас?

— Понимаю.

— Нет. — Он покачал головой. — Не понимаете. Но поймёте. — Он встал. — Подумайте до пятницы. В пятницу я буду в лаборатории. Приходите. Я хочу посмотреть на вашу бумагу.

Он ушёл. Я смотрел ему вслед и думал: «Он не отстанет».

* * *

Домой я не поехал. Я поехал в музей, но не в подклет, а в библиотеку музея — маленькую комнату с двумя шкафами и окном во двор. Там я просидел до вечера. Я составил опи-

сание кодекса: формат, переплёт, застёжки, бумага, чернила, пагинация. Я вёл себя как научный сотрудник. Я делал то, чему меня учили. Это было единственное, что я умел делать хорошо.

А потом я сделал то, чего меня не учили.

Я достал телефон. Нашёл канал «Разрез». Полина Вершина, двадцать девять лет, писала о культуре и о том, как культура иногда оказывается не тем, чем кажется. У неё было сто двадцать тысяч подписчиков и репутация человека, который не публикует непроверенное. Я знал её по одной статье о поддельных иконах, которую читал дважды.

Я написал: «У меня есть текст, который может перевернуть историю. Пятое Евангелие. Настоящее. Если интересно — ответьте».

Потом прикрепил фотографию первой страницы.

Потом посмотрел на кнопку «Отправить».

Я говорил себе: «Ты просто проверяешь реакцию. Ты никому не отдаёшь книгу. Ты просто спросишь, заинтересует ли это кого-нибудь». Я говорил себе, что это научный шаг. Что публикация — это часть науки. Что если я буду молчать, то книгу найдут другие, и они распорядятся ею хуже.

Я нажал «Отправить».

Сообщение ушло. Одна галочка. Потом две. Потом сообщение стало частью мира, и я уже не мог его вернуть.

Я сидел и смотрел на экран. В комнате было тихо. За окном шёл снег. Я чувствовал себя человеком, который чирк-

нул спичкой в библиотеке и теперь ждёт, когда приедет пожарный.

Вечером я пошёл в храм Трёх Свидетелей. Не потому, что верил. Потому, что мне нужно было кому-то рассказать.

Глава 5. Исповедь тщеславного человека

Храм был пуст. Горели свечи. У иконы сидела женщина с синими кончиками волос. Она что-то рассматривала в лупу, и при моём появлении быстро закрыла футляр.

— Извините, — сказал я. — Я ищу отца Алексея.

— Он в алтаре. — Она посмотрела на меня. — Вы вчера приходили. Ночью.

— Приходил. — Я снял шапку. — Я не очень помню, что говорил.

— Вы сказали, что нашли то, чего не должно быть. Потом просидели час и ушли.

— Я не хотел...

— Я не спрашиваю. — Она кивнула на скамью. — Я Ника.

Она встала. У неё были усталые глаза и золотая нитка на запястье. Я почему-то сразу понял, что она имеет отношение к книге.

— Вы нашли что-то в монастыре, — сказала она.

Это был не вопрос.

— С чего вы взяли?

— У вас лицо человека, который нашёл и не знает, что с этим делать. — Она кивнула на мой рюкзак. — И запах. От вас пахнет воском и старым пергаментом.

— Это профессиональное?

— Это реставраторское. — Она улыбнулась. — Пойдёмте.

Он ждёт.

Алексей вышел из алтаря. Он был высокий, сутулый, в очках с треснувшим стеклом. Пахло ладаном и чаем.

— Даниил Андреевич, — сказал он. — Ваша мама звонила. Она просила вас накормить.

— Я не голоден.

— Это она так думает. — Он кивнул на скамью. — Садитесь.

Я сел. Ника осталась стоять у иконы.

— Вы нашли книгу, — сказал Алексей.

— Да.

— И хотите её опубликовать.

— Я не говорил.

— У вас лицо.

— У всех сегодня лица.

— У всех, кто находит книгу. — Алексей сел напротив.

— Расскажите. Не торопитесь. Я умею слушать.

И я рассказал.

Я рассказал про нишу, про ящик, про книгу. Про Иуду. Про отца. Про Кранца. Про маму. Про то, как хочу стать знаменитым.

Алексей слушал. Не перебивал. Когда я закончил, он спросил:

— Вы верите в Бога?

— Не знаю. — Я честно не знал. — Я верю в науку.

— Это тоже вера. Просто с логарифмической линейкой.

— Вы не одобряете.

— Я не одобряю тщеславие. — Он посмотрел на меня.

— Но я не осуждаю. Я сам был тщеславным. Когда я был молодым, я хотел, чтобы меня заметили. Я думал, что Бог — это способ быть замеченным.

— И что случилось?

— Меня заметили. — Он улыбнулся. — Это было хуже, чем я думал.

Он достал из кармана сложенный лист.

— Посмотрите.

Я развернул. Это была страница. Старая, с уставным текстом. Внизу — список.

«Несущие:

1. Ковалёв.

2. Слепцова.

3. Одинцов.

4. Тихонов.

5. Ветрова».

— Это из вашей книги, — сказал Алексей.

— Откуда она у вас?

— Из алтаря. — Он помолчал. — Она ждала.

— Чего?

— Вас.

Я смотрел на список. Моя фамилия была третьей. Между

женщиной, которую я не знал, и мужчиной, которого я не знал.

— Значит, я избранный?

— Нет. — Алексей покачал головой. — Избранным быть приятно. Это как выиграть в лотерею. А быть несущим — это как идти на работу. Каждый день. Пока не свалишься.

— Я не просил.

— Никто не просил. — Он сложил лист. — Но вы уже в списке. И, судя по тому, что сказала ваша мама, ваш отец был в нём до вас.

— Он был третьим?

— Да. — Алексей посмотрел на меня. — Он тоже хотел опубликовать. И его не стало.

— Вы знали его?

— Нет. Но я знаю, что бывает с теми, кто пытается рассказать. — Он подался вперёд. — Даниил. Я не могу вам запретить. Вы взрослый человек. Но я могу сказать: если вы опубликуете эту книгу, вы не станете вторым Шлиманом. Вы станете первым человеком, который открыл дверь. И не факт, что вы успеете её закрыть.

Я молчал.

— Что мне делать? — спросил я.

— Не знаю. — Он улыбнулся. — Я священник, а не редактор.

Он встал. Потом добавил:

— Но для начала исповедуйтесь.

— Я не готов.

— Тогда приходите, когда будете готовы. — Он пошёл к алтарю и обернулся. — И не выходите из города. Те, кто вас ищет, уже здесь.

* * *

Я не ушёл. Я сидел на скамье и смотрел на икону. Ника ушла в мастерскую, Алексей — в алтарь. В храме стало совсем тихо. Только свечи потрескивали и где-то за стеной капала вода.

Я думал о списке. О том, что моя фамилия стоит между чужими. О том, что мой отец был третьим до меня. О том, что я всю жизнь злился на человека, которого не помнил, и теперь узнал, что он был таким же, как я. Тщеславным. Упрямым. Уверенным, что правда важнее людей.

Я подошёл к исповедальне. Она была старая, тёмного дерева, с решёткой, за которой ничего не было видно.

— Батюшка, — сказал я.

— Я здесь, — сказал Алексей из-за решётки.

— Я хочу исповедаться.

— Хорошо. — Он помолчал. — Но сначала я хочу, чтобы вы поняли: это не разговор. Это таинство. Здесь не я вас слушаю. Здесь слушает Бог. Если вы пришли ко мне за советом, мы можем поговорить и так. Если вы пришли к Богу — говорите.

Я стоял и не знал, что сказать. Я не был на исповеди с детства. Я помнил только запах ладана и чувство, что говорю

неправду даже когда говорю правду.

— Я хочу быть знаменитым, — сказал я.

— Это не грех. Это желание.

— Я хочу, чтобы меня заметили.

— Это тоже не грех.

— Я хочу, чтобы мой отец увидел, что я стал лучше него.

Пауза.

— Вот это уже ближе, — сказал Алексей.

— Он бросил нас. Он ушёл в дверь. Он выбрал книгу, а не меня. Я всю жизнь старался быть не как он. И вот я стою здесь с его книгой и хочу сделать то же самое.

— Вы хотите опубликовать книгу, чтобы доказать, что вы не он?

— Да.

— Или чтобы он заметил?

— Он умер. Его нет.

— Вы в этом уверены?

Я замолчал.

— Даниил. — Голос Алексея был тихий, но очень ясный.

— Тщеславие — это не когда вы хотите, чтобы вас увидели. Это когда вы хотите, чтобы вас увидели неправильно. Вы хотите, чтобы отец увидел не вас. Вы хотите, чтобы он увидел вашу победу. Это разные вещи.

— А если я не знаю, кто я без победы?

— Тогда вы ещё не начали. — Он помолчал. — Я дам вам епитимью. Не для наказания. Для лечения.

— Какую?

— Напишите письмо отцу. Не отправляйте. Просто напишите. Всё, что не сказали. Всё, за что злитесь. Всё, за что любите. А потом принесите мне. Мы прочитаем вместе.

— Он не прочитает.

— Прочитаете вы. — Алексей помолчал. — Иногда это важнее.

Я стоял у решётки. В храме пахло воском и снегом. Я чувствовал, как из меня уходит что-то, что я носил двадцать лет, и не понимал, что это было: груз или опора.

— Я не умею прощать, — сказал я.

— Никто не умеет. — Голос Алексея был спокойный. — Прощение — это не чувство. Это решение. Вы принимаете его, а чувство приходит потом. Иногда через год. Иногда никогда. Но решение остаётся.

— А если я решу, а ничего не изменится?

— Изменится. — Пауза. — Но не то, что вы думаете.

Он прочитал разрешительную молитву. Я не запомнил слов. Я запомнил только, что после них стало тише. Не в храме. Во мне.

Я вышел из исповедальни. Алексей вышел следом. Он снял очки и протёр треснувшее стекло краем рясы.

— Вы спрашивали, что мне делать, — сказал он. — Я не ответил. Ответ будет неприятным.

— Говорите.

— Ничего. — Он надел очки. — Пока ничего. Вы не го-

ТОВЫ.

— К чему?

— К тому, чтобы выбирать. — Он кивнул на список, лежащий на столе. — Вы думаете, что выбор — это когда вы решаете, опубликовать книгу или нет. Это не выбор. Это искушение. Выбор будет позже. И он будет хуже.

— Хуже чего?

— Хуже всего, что вы можете представить. — Он помолчал. — Даниил, я скажу вам то, что говорю только тем, кто уже в списке. Несущие — это не орден. Это не избранные. Это люди, у которых есть трещина. У Ники — зрение. Она видит, где реальность разошлась. У Аркадия — рука. Он может вычеркнуть человека, и человек исчезнет. У меня — слух. Я слышу ложь, и у меня звенит ухо. Это не дар. Это рана, которая не зажила.

— А у меня?

— Память. — Он посмотрел на меня. — Вы помните то, чего не было. И записываете то, что будет. Это тоже рана. Просто вы её пока не чувствуете.

— А пятая? Ветрова?

— Она ходит по улицам, которых нет. — Алексей покачал головой. — Мы её не нашли. Но она уже в пути. Я слышу это по ушам. Когда она приближается, звон становится тише.

— Почему тише?

— Потому что она не врёт. — Он улыбнулся. — Это редкость.

Я посмотрел на список. Пять фамилий. Пять человек, которых я не знал. Пять дверей.

— А если я откажусь? — спросил я. — Если я уеду? Если я просто... исчезну?

— Вы уже исчезли, — сказал Алексей. — В тот момент, когда взяли книгу. Город это чувствует. Он ещё не понял, но чувствует. Через неделю вас перестанут узнавать. Через две — перестанут помнить. Это не наказание. Это следствие.

— Почему?

— Потому что книга помнит вас сильнее, чем город. — Он посмотрел на кодекс. — Пока вы в книге, вы есть. Но город не любит тех, кто есть в книге. Он ревнует.

— Значит, у меня нет выбора.

— Есть. — Алексей взял меня за плечо. — Вы можете выбрать, как вы будете помнить. Это единственный выбор, который у вас останется. И он важнее всех остальных.

* * *

Когда я вышел из исповедальни, Ника стояла у иконы. В руках у неё был футляр.

— Что? — спросил я.

— Покажите книгу, — сказала она. — Я хочу посмотреть переплёт.

Глава 6. Живой текст

Мастерская Ники находилась в подвале дома на Пятницкой, за железной дверью с табличкой «Фонд. Посторонним вход воспрещён».

Я всегда думал, что реставраторы работают в светлых комнатах с окнами и видом на Кремль. На самом деле они работают в подвалах, потому что подвалы не трясутся от трамваев, а свет в них можно сделать любой. В мастерской Ники пахло рыбьим клеем, скипидаром и старыми книгами. На столах лежали деревянные доски, куски левкаса, банки с пигментами. Под потолком тянулись трубы, обмотанные зелёной изолентой. На одной из них висело объявление: «Не трогать. Это не отопление».

— Кладите, — сказала Ника.

Я положил кодекс на стол. Она надела перчатки, включила лампу и наклонилась над книгой так, как хирург наклоняется над операционным полем.

Алексей стоял у двери с чашкой чая. Он пришёл с нами, хотя я не понимал зачем. Потом понял: он боялся оставить меня одного.

— Кто вас учил хранить книги? — спросила Ника.

— Никто.

— Это видно. — Она провела пальцем по переплёту, не касаясь кожи. — Вы держали её за крышку. Так держат бу-

терброд. Книга этого не любит.

— Она живая?

— Все книги живые. Некоторые просто об этом забыли.

Она открыла застёжки. Они поддались не сразу, как будто книга не хотела, чтобы её открывали. Потом раздался тихий вздох — не звук, а движение воздуха. Пыль поднялась над столом и медленно осела.

— Она тёплая, — сказала Ника.

— Я знаю.

— Нет. — Она посмотрела на меня. — Она тёплая не как предмет. Она тёплая как человек. Вы понимаете разницу?

Я понимал. Это было хуже всего.

Ника взяла скальпель и начала отделять покровную кожу от доски. Работала она медленно, как будто распускала шов на живом теле. Я смотрел на её руки. На запястье у неё была золотая нитка — тонкая, как волос. Такая же нитка была вплетена в переплёт.

— Вот, — сказала она.

Под кожей, в углублении верхней крышки, лежал кусочек дерева. Маленький, размером с почтовую марку. На нём была живопись: глаз. Тёмный, с золотым ободком зрачка, с ресницами, написанными тонкой кистью.

— Это фрагмент иконы, — сказала Ника.

— Какой?

— Спаса на Бору. — Она подняла глаз на меня. — Из нижнего поля. Там не хватало кусочка. Мы искали его в ян-

варе. Думали, он потерялся при разборе церкви.

— И что?

— Он не потерялся. — Она посмотрела на глаз. — Он был здесь. Всё это время.

Алексей подошёл. Посмотрел на фрагмент. Перекрестился.

— Книга сшита иконой, — сказал он.

— Не сшита. — Ника перевернула крышку. — Посмотрите.

Внутри, вдоль корешка, вилась золотая нить. Она проходила через тетради, скрепляя их между собой. Нить была толстая, витая, с льняной основой. Такой нитью пришивали оклады к иконам.

— Это нить из ризы, — сказала Ника. — Ею шили серебряные оклады. Ею же сшиты страницы.

— Значит, книга — это икона? — спросил я.

— Книга — это оклад. — Ника покачала головой. — Икона внутри. А книга снаружи. Они держат друг друга.

Я смотрел на глаз. Он был написан так, что казалось, будто он смотрит не на меня, а за меня. Мимо. В то место, где я стоял секунду назад.

— Кто это сделал? — спросил я.

— Тот, кто переплетал. — Ника пожала плечами. — Или тот, кто писал. Или тот, кто прятал. В таких книгах никогда не знаешь, где кончается ремесло и начинается вера.

Она взяла лупу и начала рассматривать страницы. Я стоял

рядом и молчал. Алексей налил себе ещё чаю.

— Смотрите, — сказала Ника.

На странице был текст. Церковнославянский, устав, кино-варные заголовки. Но под буквами виднелись другие буквы. Более старые. И ещё более старые под ними.

— Палимпсест, — сказала она. — Текст писали поверх текста. Не потому, что не хватало бумаги. Потому, что старый текст нельзя было стирать.

— Почему?

— Не знаю. — Она посмотрела на меня. — Но я вижу шесть слоёв. Шестнадцатый век. Семнадцатый. Восемнадцатый. Деятнадцатый. Двадцатый. И ещё один. Свежий.

— Свежий?

— Вот. — Она показала на последнюю страницу. — Здесь чернила ещё не высохли.

Я наклонился. На странице были буквы. Знакомые. Мой почерк.

«Завтра Кранц предложит тебе стабильность. Спроси, кто платит».

Я отшатнулся.

— Это не я.

— Это ваш почерк.

— Я не писал.

— А кто?

Я посмотрел на Алексея. Он не выглядел удивлённым. Он выглядел усталым.

— Когда вы читали книгу, — сказал он, — вы её переписывали.

— Я ничего не писал.

— Вы читали. Этого достаточно. — Он подошёл к столу. — Текст запоминает того, кто читает. И начинает писать за него.

— Это невозможно.

— Вы держите в руках книгу, сшитую иконой. — Алексей посмотрел на меня. — Вы всё ещё думаете, что невозможное — это аргумент?

Ника закрыла кодекс. Потом открыла снова. Страница с моим почерком была на месте. Чернила блестели.

— Здесь дата, — сказала она. — Завтрашняя.

— Это пророчество?

— Нет. — Она покачала головой. — Пророчество говорит о том, что будет. А это — черновик. Кто-то уже написал завтрашний день. И ждёт, чтобы вы его прожили.

— Кто?

— Вы. — Она посмотрела на меня. — Только вы ещё не знаете, что вы это вы.

Я сел на табурет. В подвале было тихо. Где-то за стеной капала вода. Пахло рыбой и старым деревом.

— Я не хочу, — сказал я.

— Никто не хочет, — сказал Алексей.

— Вы всегда так говорите?

— Только когда это правда.

* * *

Ника сняла перчатки и включила чайник. Пока он грелся, она рассказала про мать. Вера Аркадьевна жила с ней, в двух комнатах на Ордынке. Она не помнила имён, но помнила, как держать кисть. Она узнавала Нику по рукам. Каждое утро она спрашивала: «Вы кто?» — и каждый раз Ника отвечала: «Я ваша дочь». Иногда Вера говорила: «У меня была дочь». Иногда: «Я её не помню». Иногда просто кивала и просила чаю.

— Это тяжело, — сказал я.

— Это работа, — сказала Ника. — Как реставрация. Только материал хуже.

Она налила чай. В чашке плавал пакетик с ярлычком, на котором был нарисован слон.

— Я не верю в Бога, — сказала она вдруг. — Но я верю в иконы. Не в то, что они делают. В то, что они держат. Понимаете? Люди думают, что икона — это окно. А она — гвоздь. Она прибивает реальность к стене, чтобы стена не упала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.